МАЛЕНЬКИЙ ГОСПОДИН ФРИДЕМАН

Виною всему была кормилица. Напрасно госпожа консульша Фридеман, едва ощутив подозрение, увещевала ее бороться с этим пороком. Напрасно этой особе, кроме питательного пива, ежедневно подносили еще по стаканчику красного вина. Оказывается, она не гнушалась даже спиртом, заготовленным для спиртовки, и, прежде чем ее рассчитали, прежде чем нашли другую, — несчастье свершилось. Когда мать с тремя дочками-подростками вернулась с прогулки домой, маленький Иоганнес, которому едва ли был месяц от роду, лежал на полу, свалившись с пеленального стола, и безнадежно-тихо кряхтел, а кормилица стояла рядом, осоловело уставившись на него.

Доктор, бережно и настойчиво исследовавший маленькое, судорожно корчившееся тельце, принял озабоченный, очень озабоченный вид, три сестрички всхлипывали, забившись в угол, а мать в сердечной своей тоске громко молилась.

Бедная женщина еще носила дитя под сердцем, когда от столь же внезапного, сколь и неизлечимого недуга скоропостижно скончался ее супруг — нидерландский консул; что-то в ней надломилось, она во всем изверилась и теперь не надеялась сохранить маленького Иоганнеса. Но спустя два дня доктор, обнадеживающе пожимая ей руку, объявил, что непосредственная угроза миновала, легкое сотрясение мозга, а это главное, прошло, что явствует хотя бы из взгляда ребенка, отнюдь не бессмысленно остановившегося, как вначале... Разумеется, надо запастись терпением, проследить за дальнейшим ходом... и уповать на лучшее... да, уповать на лучшее...

Серый дом с двускатной островерхой крышей, в котором проходило детство Иоганнеса Фридемана, был расположен у северных ворот старинного торгового городка. Из просторных сеней, выстланных каменными плитами, наверх вела лестница с белыми деревянными перилами. В гостиной на втором этаже шпалеры были затканы поблекшими от времени ландшафтами, а вокруг тяжелого стола красного дерева, покрытого пунцовой бархатной скатертью, чинно стояли кресла с жесткими прямыми спинками.

В детстве он часто сиживал здесь у окна, за которым цвели прелестные цветы, сиживал, примостившись на низенькой скамеечке, у ног матушки, созерцая ее, разделенные ровным пробором, седые волосы и нежное доброе лицо, вдыхая едва слышный аромат, всегда исходивший от нее, и, затаив дыхание, внимал волшебной сказке. А не то Иоганнес разглядывал портрет отца, господина с приветливым лицом и седыми бакенбардами. Он на небе, говорила матушка, и ждет их всех к себе.

За домом был маленький сад, где они проводили летом добрую половину дня, невзирая на приторно-сладкий чад, доносившийся с расположенного поблизости сахарного завода. Старый суковатый орешник рос там, и маленький Иоганнес обыкновенно сидел в его тени, на низком деревянном креслице, и грыз орехи, а мать и три его уже взрослые сестры располагались под серым парусиновым тентом. Но глаза матери часто отрывались от рукоделия, чтобы с печальною лаской скользнуть по ребенку.

Он не был хорош собою, маленький Иоганнес, с его острой высокой грудью, выпуклой спиной и несоразмерно длинными, тощими руками, и когда он, вот так прикорнув на креслице,

© Томас Манн, перевод Т. Исаевой
© «Im Werden Verlag». Некоммерческое электронное издание. Мюнхен. 2004
http://www.imwerden.de

ловко и проворно грыз орехи, то являл собой достаточно странное зрелище. Но у него были узкие, безукоризненно изящные ноги и кисти рук, большие золотистые глаза, нежно очерченный рот, русые волосы. И хотя лицо Иоганнеса было так жалостно сдавлено плечами, его можно было назвать почти красивым.

Когда мальчику исполнилось семь лет, его определили в школу — теперь годы потекли быстро и однообразно. Каждый день с забавной важностью, так часто отличающей горбунов, вышагивал он мимо островерхих зданий и лавок в старую школу с готическими сводами, а дома, приготовив уроки, то ли читал свои книжки в нарядных, пестрых переплетах, то ли возился в садике, в то время как сестры помогали по хозяйству прихварывавшей матери. Они выезжали и в свет — семейство Фридеманов принадлежало к сливкам городского общества, однако замуж девицы, увы, не выходили, ибо были небогаты и достаточно дурны собой.

Иоганнесу тоже случалось получать приглашения от своих сверстников, но общение с ними не сулило ему больших радостей. Он не мог принимать участия в их играх, они же в его присутствии всегда испытывали какую-то напряженную неловкость, и поэтому настоящая дружба не завязывалась.

Пришло время, и на школьном дворе, при Иоганнесе, часто стали заводить разговоры определенного свойства. Настороженно, раскрыв глаза, выслушивал он пылкие излияния, касающиеся той или иной девочки, и молчал. «Пусть другие только и думают что о девчонках, — говорил он себе, — для меня это недоступно, так же как метание мяча и гимнастические упражнения». Порою он испытывал грусть, но постепенно свыкся с тем, что должен жить сам по себе, не разделяя интересов других мальчиков.

И все же случилось, что Иоганнес — шестнадцать лет от роду было ему тогда — влюбился в девочку, в свою сверстницу. Это была сестренка его соученика — светловолосое, необузданно-резвое создание, и познакомились они у ее брата. Вблизи нее Иоганнес чувствовал какое-то странное стеснение, а ее нарочитая ласковость причиняла ему подлинное страдание.

Как-то раз летним вечером он одиноко прогуливался по городскому валу, когда из-за куста жасмина до него донесся шепот: на скамейке сидела та самая девочка рядом с рослым рыжим юнцом, хорошо знакомым Иоганнесу. Рыжий обнял девочку и поцеловал ее в губы, а она, хихикая, возвратила ему поцелуй.

Увидев это, Иоганнес Фридеман отвернулся и крадучись пошел прочь.

Его голова глубже обычного ушла в плечи, руки тряслись, резкая щемящая боль подкатила от сердца к горлу. Но он совладал с ней, заставил себя выпрямиться, насколько это было в его силах. «Ладно, — сказал он себе. — Кончено! Никогда больше не стану терзаться ничем подобным. Другим оно дает наслаждение и радость, мне приносит только скорбь и страдание. С меня хватит! Сыт по горло! Баста!» Благое решение! Иоганнес отрекался, отрекался раз и навсегда... Он вернулся домой к своим книгам, к своей скрипке, на которой научился играть, хотя ему мешала острая, выпирающая грудь.

Семнадцати лет он распростился со школой и занялся коммерцией, как занимались ею испокон века все люди его круга, и поступил учеником в лесопромышленное предприятие господина Шлифогта, расположенное внизу у реки.

С ним обращались мягко, он со своей стороны был покладист, предупредителен, и так, мирной чредой шло время. Но когда ему исполнился двадцать один год, умерла после тяжкой болезни его мать.

Это было большим горем для Иоганнеса Фридемана. Он долго не расставался с ним... Он упивался им, отдавался ему, как счастью, растравлял бесчисленными воспоминаниями детства, копил его, как скупец, — первое свое жизненное потрясение. Но разве жизнь не

хороша, даже если она складывается для нас так, что ее не назовешь «счастливой»! Иоганнес Фридеман понял это и любил жизнь. Никто не знает, скольких душевных сил стоило ему, отрекшемуся от высшего, даруемого жизнью счастья, искренне наслаждаться доступными ему радостями. Прогулка весною в пригородном саду, поющая птица, душистый цветок — можно ли не быть благодарным жизни и за это?

И то, что образованный человек острее воспринимает все прекрасное, более того, что само образование прекрасно, и это понял Иоганнес и стремился стать образованным человеком. Он любил музыку и не пропускал ни одного концерта из тех, что устраивались в его городке. Иоганнес и сам был не прочь помузицировать и научился играть на скрипке, радуясь, когда дело шло на лад, каждому красивому, мягкому звуку, хотя сам при этом являл очень странное зрелище.

Он читал запоем и постепенно воспитал в себе литературный вкус, которого, правда, никто в городе с ним не разделял. Он был осведомлен обо всех литературных новинках как на родине, так и за границей, умел смаковать ритм и дразнящую прелесть стиха, отдаваться во власть интимного настроения изысканной новеллы... Да, пожалуй, можно сказать, что он был эпикурейцем!

Он научился воспринимать как радость любое явление жизни, понял, что их нельзя подразделять на счастливые и несчастливые. Он дорожил любым своим ощущением, настроением и равно лелеял их — мрачные и светлые, даже несбывшиеся желания, даже тоску. Он любил тоску ради нее самой и говорил себе, что, когда надежды сбываются, все лучшее остается позади. Разве сладко-щемящие, смутные, томительные надежды и ожидания тихого весеннего вечера не богаче радостью, чем осуществленные посулы лета? Да, конечно же он был эпикурейцем, маленький господин Фридеман!

Впрочем, этого, вероятно, не знали люди, кланявшиеся ему на улице с тем приветливо-сочувственным видом, к которому он привык издавна. Они не знали, что маленький горбатый человечек, с уморительной важностью выступавший в своем светлом сюртуке и лоснящемся цилиндре, — как ни странно, он был завзятым щеголем, — нежно любит свою жизнь, лишенную ярких страстей, но исполненную тихого, нежного счастья, творцом которого он сумел стать.

Но особую склонность, можно даже сказать, страсть, господин Фридеман питал к театру. Сцена оказывала на него необычайно сильное действие, и нередко развязка трагедии заставляла трепетать все его маленькое тело. У него было постоянное место в первом ярусе городского театра, оно редко пустовало, а иногда он появлялся там в обществе трех своих сестер. После смерти матери они вели все хозяйство, свое и братнино, в старом доме, который унаследовали сообща с ним.

Замуж они, увы, все еще не вышли, но давно достигли возраста, когда на это и не притязают, — ибо Фридерика, старшая, родилась на семнадцать лет ранее господина Фридемана. Она и вторая сестрица, Генриетта, были несколько сухопары и тощи, тогда как коротышка Фифи, младшая, отличалась излишней полнотой. Вдобавок у нее была смешная привычка — раскачиваться при каждом слове, а в уголках рта у нее скоплялась слюна.

Маленький господин Фридеман не был чрезмерно привержен к своим сестрам, зато три девицы, связанные неразрывными узами, держались одинакового мнения решительно обо всем и уж совсем исключительное единодушие проявляли, когда какая-нибудь знакомая барышня становилась невестой. Тут они в один голос твердили, что очень рады этому.

Оставив предприятие господина Шлифогта и вступив в самостоятельное владение небольшим агентством или чем-то, не слишком обременительным, в этом роде, он по-прежнему жил вместе с сестрами. Господин Фридеман занимал нижние комнаты старого дома и подымался наверх только к столу, потому что, случалось, страдал одышкой.

В день своего тридцатилетия, в светлый, жаркий, июньский день, он, отобедав, сидел в тени серого тента с хорошей сигарой и хорошей книгой, а голова его покоилась на новой подушечке, вышитой руками Генриетты. Время от времени он откладывал книгу, прислушивался к

радостному чириканью воробьев, сидевших на старом орешнике, поглядывал на чистенькую, посыпанную гравием дорожку, ведущую к дому, и на зеленый, пестревший клумбами газон.

Маленький господин Фридеман не носил бороды, время почти не изменило его, разве только черты лица стали несколько резче. Легкие русые волосы он гладко зачесывал на косой пробор.

Он тихо опустил книгу на колени и, прищурившись, стал смотреть в синее солнечное небо. «Вот и тридцать лет миновало, — сказал он себе. — Осталось еще каких-нибудь десять, а может быть, двадцать, про то знает один бог.

Бесшумной чередой пройдут, проскользнут и они, как ушли эти тридцать, и я жду их с миром в душе».

В июле того же года произошли события, всколыхнувшие весь городок. Был смещен командующий местным военным округом, жизнерадостный толстяк, пользовавшийся общей любовью; с ним расставались весьма неохотно. Бог его знает, в силу каких обстоятельств, из столицы на его место назначили господина фон Риннлинген. Впрочем, с новым командующим дело, по-видимому, обстояло не так уж худо. Подполковник, который был женат, но бездетен, снял в южном предместье города весьма поместительный особняк, из чего явствовало, что он намеревается жить открытым домом. Так или иначе, слухи о его богатстве подтверждались: четырех слуг, пять верховых и ездовых лошадей, легкую охотничью коляску и ландо вывез он из столицы.

Супруги Риннлинген не замедлили нанести визиты наиболее видным семействам города, их имя было у всех на устах. Но, безусловно, особый интерес возбуждал не сам господин фон Риннлинген, а его супруга.

Мужчины были несколько сбиты с толку и покамест не составили себе суждения. Дамы же без околичностей вынесли приговор Герде фон Риннлинген.

— Эта барынька насквозь пропитана столичным духом, — доверительно сообщила Генриетте Фридеман жена присяжного поверенного, госпожа Хагенштрем.

— Что же, это естественно! Она курит, она скачет верхом на лошади; ладно, примем и это как должное. Но ее манеры! Она ведет себя более чем вольно, она ведет себя как студент, как мальчишка, да и это еще не то слово! Видите ли, она недурна собой, ее, пожалуй, даже можно назвать красивой, но в ней нет ни капли женственности, ее взгляду, улыбке, движениям недостает очарования, всего того, что любят мужчины. Правда, она не кокетка, и видит бог, я первая выскажусь за то, что это очень похвально. Но куда же годится, чтобы молоденькая женщина — ей двадцать четыре года — до такой степени пренебрегала властью, которую нам, женщинам, даровала сама природа? Душечка, я не речиста, но, право же, знаю, о чем говорю! Покуда у наших мужчин голова еще идет кругом, но вот увидите, через несколько недель они будут разочарованы и отвернутся от нее.

— Ах, — сказала Генриетта Фридеман, — она и без того неплохо устроена!

— Да, да, ее муж! — отозвалась госпожа Хагенштрем. — Но как она с ним обращается? Видели бы вы только! Впрочем, увидите! Я первая выскажусь за то, что замужняя женщина должна держать особ другого пола на известном расстоянии! Но с собственным мужем! Она манерничает, смотрит глазами холодными, как лед, и так снисходительно тянет свое «милый друг», что, право, нельзя не возмутиться! А если бы вы посмотрели при этом на него — корректный, выдержанный, породистый мужчина, великолепно сохранившийся для своих сорока лет, — бравый офицер. А женаты они четыре года, душечка моя!..

Местом, где маленькому господину Фридеману было суждено впервые увидеть госпожу фон Риннлинген, оказалась главная улица, на которой дома почти сплошь были заняты под

торговые предприятия, и состоялась эта встреча в обеденный час, когда он возвращался с биржи, где тоже сказал свое веское слово.

Крошечный и важный, выступал он рядом с оптовым торговцем Стефенсом, дюжим, нескладным мужчиной с котлетообразными бакенбардами и на редкость густыми бровями. Оба были в цилиндрах и распахнутых из-за большой жары пальто. Они рассуждали о политике и при этом мерно, в такт, постукивали своими тростями по тротуару. Они прошли уже почти полпути, когда оптовый торговец Стефенс вдруг сказал: — Черт меня возьми совсем, если вон там едет не Риннлингша!

— Ну, что же, очень кстати, — ответил господин Фридеман своим высоким, немного пронзительным голосом. — До сих пор она как-то не попадалась мне на глаза! Ага, вот и пресловутая желтая коляска!

И впрямь, то была желтая охотничья коляска. Сегодня госпожа фон Риннлинген выехала в ней и собственноручно правила двумя холеными лошадьми, в то время как слуга сложа руки восседал сзади. На ней был свободный очень светлый жакет, юбка тоже была светлая. Из-под круглой соломенной шапочки с коричневым кожаным бантом выбивались рыжие в золото волосы, они закрывали ей уши и тугим узлом спускались на затылок. Лицо у нее было продолговатое, кожа матово-белая, а в уголках удивительно близко посаженных глаз лежали синие тени. Крошечные веснушки были рассыпаны по ее вздернутому, но изящному носу... они украшали ее. Но красив ли ее рот — об этом трудно было судить, ведь она беспрерывно то поджимала, то выпячивала нижнюю губку. Когда коляска поравнялась с ними, оптовый торговец Стефенс отвесил крайне почтительный поклон, а маленький господин Фридеман тоже приподнял свой цилиндр и пристально, с любопытством посмотрел на госпожу фон Риннлинген. Она помахала хлыстиком, слегка кивнула головой и медленно проехала мимо, разглядывая дома и витрины по обеим сторонам улицы.

Пройдя несколько шагов, оптовый торговец сказал: — Прокатилась, а теперь возвращается домой.

Маленький господин Фридеман не ответил ничего, он смотрел вниз на мостовую. Потом вдруг поднял глаза на оптового торговца и спросил: — Вы что-то сказали?

И господин Стефенс повторил свое остроумное замечание.

Прошло три дня. Согласно установившемуся обычаю господин Фридеман ровно в полдень вернулся с прогулки домой. Обед подавался в половине первого, и он хотел на оставшиеся полчаса заглянуть и свою «контору», помещавшуюся в нижнем этаже, справа, когда в сени вошла служанка и сказала: — А у нас гости, господин Фридеман.

— У меня? — спросил он.

— Нет, наверху, у барышень.

— Кто именно?

— Господин подполковник фон Риннлинген с супругой.

— О, — сказал господин Фридеман, — тогда я, пожалуй...

И поднялся по лестнице. Наверху, на площадке, он было взялся за ручку высокой белой двери в «ландшафтную», но вдруг передумал, отступил на шаг, повернулся и медленно удалился тем же путем, каким пришел. И хотя господин Фридеман был совершенно один, он проговорил громко вслух: — Нет. Лучше не надо!

Он спустился в свою «контору», сел за письменный стол, развернул газету. Но тут же отложил ее в сторону и уставился в окно. Так он и сидел, покуда не пришла служанка доложить, что обед подан. Тогда он отправился наверх, в столовую, где уже дожидались сестры, и взгромоздился на свой стул, на котором лежали три переплетенные нотные тетради.

Генриетта, разливавшая суп, сказала: — Ты знаешь, кто у нас был, Иоганнес?

— Да? — спросил он.

— Новое начальство.

— Ах, вот как! Очень любезно!..

— Да, — сказала Фифи, и слюна скопилась в уголках ее рта, — мне лично они оба очень понравились!

— Во всяком случае, — сказала Фридерика, — было бы неучтиво медлить с ответным визитом, я предлагаю отправиться к ним послезавтра, в воскресенье...

— В воскресенье, — сказали Генриетта и Фифи.

— Ты, конечно, тоже пойдешь, Иоганнес? — спросила Фридерика.

— Само собой разумеется, — сказала Фифи и вся заколыхалась.

Господин Фридеман, очевидно, не слышал вопроса Фридерики.

Отсутствующий, притихший, ел он свой суп. Казалось, он слышит какие-то иные звуки, какие-то зловещие шорохи.

Назавтра в городском театре шел «Лоэнгрин». Съехалось все избранное общество. Набитый до отказа маленький зрительный зал был полон приглушенного говора, запаха газа и духов. Но как в партере, так и в ярусах все бинокли были обращены на ложу номер тринадцать, первую справа от сцены, ибо нынче вечером там появился господин фон Риннлинген вместе с супругой, и любопытным горожанам наконец-то представился случай хорошенько рассмотреть эту чету.

Когда маленький господин Фридеман в безупречном черном костюме и ослепительно белой манишке, торчавшей на груди колом, вошел в свою ложу, ложу номер тринадцать, первым его поползновением было улизнуть; рука потянулась ко лбу, ноздри судорожно расширились. Потом он опустился на свой стул, рядом с госпожой фон Риннлинген.

Покуда он усаживался, она, выпятив нижнюю губку, внимательно его изучала, затем отвернулась и заговорила с мужем, стоявшим позади. Это был высокий, широкий в плечах мужчина с торчащими кверху кончиками усов и приветливым загорелым лицом.

Началась увертюра, госпожа фон Риннлинген склонилась над барьером ложи, и господин Фридеман скользнул по ней торопливым жадным взглядом. Ее светлое вечернее платье было слегка декольтировано, в отличие от туалетов остальных дам. Широкие сборчатые рукава оставляли открытыми руки в высоких, до локтя, белых перчатках. Сегодня она показалась ему довольно полной, в прошлый раз свободный жакет несколько скрадывал пышность ее форм. Она дышала глубоко и ровно, грудь мерно подымалась и опускалась, сноп рыжих в золото волос тяжелым узлом спадал на затылок.

Господин Фридеман был бледен, много бледнее обычного. Маленькие капельки пота выступили у него на лбу под прилизанными русыми волосами.

Госпожа фон Риннлинген стянула перчатку с левой руки, и эта округлая матово-белая рука без колец и браслетов, украшенная только узором нежно-голубых жилок, все время находилась перед его глазами. Он был не волен в этом.

Скрипки пели, заливались медью охотничьи рога, вот зазвучал и голос Тельрамунда, общее ликование царило в оркестре, а маленький господин Фридеман сидел не шевелясь, бледный и притихший, глубоко втянув голову в плечи, прижав к губам указательный палец левой руки, засунув правую за борт сюртука.

Едва опустился занавес, госпожа фон Риннлинген поднялась и в сопровождении мужа покинула ложу. Господин Фридеман видел это не глядя. Он провел носовым платком по лбу, порывисто встал, дошел было до двери, ведущей в коридор, но вернулся, сел на свое место, занял прежнее положение и снова замер в неподвижности.

Но вот прозвенел звонок, соседи вернулись, и, почувствовав, что взгляд госпожи фон Риннлинген обращен на него, он невольно повернул голову. Их взгляды встретились, но она отнюдь не смутилась, не потупила взор, а без тени замешательства продолжала внимательно разглядывать его, покуда, побежденный, униженный, он сам не отвел глаза. Он побледнел еще сильнее, странная, сладкая и жгучая ярость захлестнула его. Зазвучала музыка.

Перед концом действия случилось так, что веер выскользнул из рук госпожи фон Риннлинген и упал на пол между ними. Оба нагнулись одновременно, но она сама проворно схватила веер и с улыбкой, не лишенной язвительности, промолвила: — Благодарю вас.

Но в то короткое мгновение, когда их головы почти соприкоснулись, он успел вдохнуть душистое тепло ее груди. Его лицо исказилось, а сердце забилось так отвратительно-сильно и гулко, что у него перехватило дыхание...

Он отсидел еще с полминуты, затем отодвинул стул, тихо встал и тихо вышел из ложи.

Он прошел по фойе, — вдогонку ему звучала музыка, — забрал на вешалке свой цилиндр, светлое пальто, трость, спустился по лестнице, вышел на улицу.

Был тихий теплый вечер. Серые островерхие дома, освещенные газовыми фонарями, безмолвно вонзались в небо, где ясно и нежно теплились звезды.

Шаги редких прохожих гулко отдавались в тишине. Кто-то встретился, поклонился ему, но он этого не видел. Он шагал понурив голову, его острая высокая грудь содрогалась — так тяжело он дышал. Время от времени он тихо говорил: — Боже мой! Боже!

С отчаянием, со страхом наблюдал он за собой — его мироощущение, так терпеливо взлелеянное, так нежно и мудро охраняемое, теперь было уничтожено, сметено, изорвано в клочья. И тогда, не в силах превозмочь чувство головокружительно-душного опьянения, томление, тоску, он прислонился к фонарному столбу и трепетно шепнул: — Герда!

Все тихо. Ни отклика, ни звука. Маленький господин Фридеман с трудом овладел собою и двинулся дальше. Круто спускавшаяся к реке улица, на которой стоял театр, осталась позади, теперь он вышел на главную улицу и зашагал по направлению к северу, домой.

Как она взглянула на него! Как взглянула! Она вынудила его отвести глаза. Укротила одним только взглядом. А ведь она женщина, а он мужчина! И разве в ее карих, в ее странных глазах при этом не мелькнуло откровенно веселое торжество? Он снова почувствовал, как его захлестывает близкое к обмороку чувственное наслаждение ярости, но, вспомнив то мгновение, когда их головы почти соприкоснулись, когда он вдыхал благоухание ее тела, он в другой раз остановился, откинул назад свое горбатое туловище, втянул сквозь зубы воздух и сам не свой, безнадежно, отчаянно прошептал: — Боже мой! Боже!

И снова машинально зашагал вперед, сквозь душную тьму пустынных гулких улиц, пока не оказался перед собственным домом. В сенях он минутку помедлил, впивая прохладный, слегка затхлый воздух, затем ушел в свою «контору».

Он уселся у открытого окна за письменный стол и в оцепенении уставился на большую чайную розу, которую кто-то поставил в стакан. Он взял ее и, закрыв глаза, стал вдыхать благоуханные цветка. Но тут же печальным, усталым жестом отодвинул стакан. Нет, нет, с этим кончено! К чему теперь это благоухание, к чему все то, что доныне составляло его «счастье»?

Отвернувшись, он выглянул в окно, на тихую улицу. Оттуда изредка доносились гулкие, замиравшие вдали шаги прохожих. В небе блистали звезды.

Как он устал, как изнемог! В голове не оставалось ни единой мысли, бурное отчаяние понемногу сменилось большою, нежною печалью. Какие-то стихи промелькнули в памяти, снова зазвучала музыка «Лоэнгрина». Он еще раз увидел рядом с собой госпожу фон Риннлинген, белую руку на красном бархате ложи, и провалился в тяжелый, горячечный сон.

Не раз он был близок к пробуждению, но боялся этого и старался снова забыться. Но когда совсем рассвело, он открыл глаза и долгим тоскливым взглядом осмотрелся вокруг. Все было свежо в памяти, будто сон и не прерывал его страдания.

Голова его гудела, глаза горели, но когда он умылся и освежил лоб одеколоном, то почувствовал себя несколько лучше и тихонько вернулся на свое место у окна. День едва брез-

жил. Было около пяти утра. Только изредка проходили мальчишки из пекарни, больше никого не было видно. В окнах дома напротив еще не поднимали жалюзи. Но птицы щебетали, и синее небо было ясно — чудесное воскресное утро!

Чувство привычного покоя, уюта снизошло на него. Чего, собственно, он опасался? Что изменилось? Вчера он перенес тяжелый приступ болезни, ладно, но ведь этому можно положить конец! Пока не поздно, пока еще он способен сопротивляться наваждению! Надо только избегать повода, могущего вызвать новый приступ, а у него на это достанет сил... Достанет сил побороть этот недуг!

Пробило половину восьмого, вошла Фридерика с кофе и поставила его на круглый столик перед обитым кожей диваном, у задней стены.

— Доброе утро, Иоганнес, вот твой завтрак.

— Спасибо, — сказал господин Фридеман. И немного погодя: — Милая Фридерика, мне, право, жаль, но вам придется отдать визит без меня. Я не совсем здоров и не смогу сопровождать вас. Я дурно спал, у меня побаливает голова, словом, я прошу вас...

— Очень жаль! Тебе не следует уклоняться... хотя ты и правда выглядишь больным, хочешь, я принесу тебе свой карандаш от мигрени?

— Благодарю, — сказал господин Фридеман. — Пройдет и так.

И Фридерика удалилась.

Он не спеша, стоя у столика, выпил свой кофе и съел кренделек. Он был доволен собой, своей непоколебимостью. Позавтракав, он снова уселся у окна.

Кофе пошел ему на пользу, он почувствовал себя вполне счастливым, исполненным надежд. Он взял книгу, закурил и, читая, щурясь, поглядывал на солнце.

Теперь улица ожила. Стук экипажей, людской говор, звонки конки проникали и сюда, к нему, но все эти звуки не могли заглушить птичьего щебета, а из сияюще-синего простора неслось теплое, нежное дуновение.

В десять часов он услышал шаги сестер в прихожей, услышал скрип входной двери, увидел, как все три барышни проследовали под окном, но не придал этому особого значения. Прошел еще час. На душе у него становилось все легче и легче. Какая-то даже чрезмерная веселость обуяла его. Каков денек! И как щебечут птицы! А что, если немного пройтись?

И тут же, казалось бы, без всякой связи с этой мыслью, мелькнула другая, сладко-пугающая мысль: а что, если пойти к ней?! И в то время как даже мышцы его напряглись от усилия заглушить предостерегающий внутренний голос, он, ликуя, решился — пойду!

И он облекся в свой воскресный черный костюм, взял цилиндр, трость и, прерывисто, бурно дыша, пустился через весь город в южное предместье. Не видя никого вокруг, отсутствующий, в каком-то приподнято-восторженном состоянии, кивая на каждом шагу головой, шел он, покуда не очутился в каштановой аллее, перед кирпичной виллой, где у входа висела табличка: «Подполковник фон Риннлинген».

Теперь на него напала дрожь, сердце судорожно сжалось и заколотилось, но он переступил порог и позвонил. «Возврата нет, чему быть, того не миновать», — подумал он. Мертвенный покой воцарился в его душе.

Дверь распахнулась, лакей пошел ему навстречу, взял визитную карточку и взбежал вверх по лестнице, устланной красной ковровой дорожкой. С этой дорожки, замерев в неподвижности, господин Фридеман и не спускал глаз, пока не вернулся лакей с докладом, что госпожа просит пожаловать наверх.

Наверху, у двери, ведущей в гостиную, он оставил свою трость и бросил взгляд в зеркало: он был бледен, глаза воспалены, неуемная дрожь сотрясала руку, державшую цилиндр.

Лакей открыл дверь, и он вошел. В просторной гостиной окна были завешены, царил полумрак. Направо стоял рояль, а в середине комнаты вокруг стола — обитые коричневым

шелком кресла. Слева над кушеткой висел пейзаж в тяжелой золоченой раме. Обои тоже были темные. Поодаль в эркере стояли пальмы.

Прошла минута, прежде чем госпожа фон Риннлинген, раздвинув портьеру справа, бесшумно пошла ему навстречу по толстому коричневому ковру. На ней было совсем простенькое платьице в красную и черную клетку. Из эркера проникал столб света, в котором кружился хоровод пылинок, он упал прямо на ее тяжелые рыжие волосы, на мгновение они вспыхнули червонным золотом.

Оценивающий взор ее странных глаз был обращен прямо на него, нижняя губка, как всегда, выпячена вперед.

— Сударыня, — начал господин Фридеман, глядя вверх — он едва доставал ей до груди, — со своей стороны и я хотел бы засвидетельствовать вам свое почтение. Когда вы изволили навестить моих сестриц, я, к сожалению, отсутствовал... и от всей души сожалел...

Больше он не сумел сказать ни слова, она же все стояла и не сводила с него глаз, словно требуя, чтобы он продолжал. Кровь бросилась ему в голову. «Да она глумится надо мной! — подумал он. — И видит меня насквозь! А как сужаются ее зрачки...» Наконец она сказала очень ясным и очень безмятежным голосом:

— Как мило, что вы пришли, я тоже сожалела о вашем отсутствии... Сядемте?

Она села рядом с ним, опустила руки на подлокотники кресла и откинулась назад. Он сидел, подавшись вперед, и держал свой цилиндр между колен. Она сказала:

— Вы знаете, что четверть часа назад у меня были ваши сестры и сказали, что вы нездоровы?

— Да, правда, — ответил господин Фридеман, — утром я чувствовал себя неважно. Я думал, что не сумею выйти. Прошу простить мое опоздание.

— У вас и сейчас больной вид, — сказала она очень спокойно, пристально глядя на него. — Вы бледны, у вас воспаленные глаза. Вы и вообще жалуетесь на здоровье?

— О, — запинаясь, выговорил господин Фридеман, — нисколько... я не жалуюсь.

— Я тоже часто бываю больна, — продолжала она, по-прежнему не сводя с него глаз, — но этого никто не замечает. Я нервна, и мне знакомы самые удивительные состояния.

Она умолкла, опустила подбородок на грудь и выжидательно, исподлобья посмотрела на него. Но он не отвечал, он сидел тихо, обратив на нее внимательный, вдумчивый взгляд. Как необычно все, что она говорит, и как трогает его этот ясный ломкий голос! На сердце стало так спокойно, — казалось, он видит сон. Госпожа фон Риннлинген прервала молчание.

— Вчера вы, кажется, ушли из театра до конца представления?

— Да, сударыня.

— Я пожалела об этом. Вы были хорошим соседом. Вы так проникновенно слушали, хотя спектакль, право же, был недостаточно хорош, вернее, только относительно хорош. Должно быть, вы любите музыку и сами играете на рояле?

— На скрипке, — сказал господин Фридеман, — то есть... совсем немножко...

— На скрипке, — повторила она и задумалась, глядя куда-то мимо него, в воздух. Потом вдруг сказала: — Значит, иногда мы могли бы помузицировать вдвоем. Я люблю аккомпанировать... и была бы рада найти здесь кого-нибудь... Вы придете?

— С величайшим удовольствием, сударыня, всегда к вашим услугам, — сказал он все еще как во сне.

Наступила пауза. Внезапно что-то в ее лице изменилось. Он увидел, как едва уловимая, но жестокая насмешка исказила ее черты, как хищно сузились зрачки ее глаз, испытующе и непреклонно обращенные на него; так было уже дважды. Его лицо побагровело, он окончательно потерял самообладание и, беспомощный, обескураженный, втянув голову в плечи, растерянно уставился на ковер. И опять, подобно короткому содроганию, пронзило его то обморочное, мучительно-сладкое чувство ярости.

Когда он с решимостью отчаяния отважился поднять глаза, она смотрела уже не на него, а спокойно разглядывала дверь за его спиною. Он заставил себя сказать несколько слов:

— Довольны ли вы пребыванием в нашем городе, сударыня?

— О, — безразлично уронила госпожа фон Риннлинген. — Почему бы мне быть недовольной? Правда, немножко стеснительно чувствовать, что за тобой все время наблюдают, но... Да, кстати, — тотчас же продолжала она, — пока я не забыла: мы намерены в ближайшее время собрать у себя небольшое общество, совсем непринужденно, немного помузицировать, немного поболтать...

У нас за домом славный сад, он доходит до самой реки. Ну вот, вам и вашим дамам, разумеется, будут посланы приглашения, но вас лично я заранее прошу принять участие в нашем празднестве. Надеюсь, вы придете?

Господин Фридеман едва успел изъявить благодарность и дать согласие, как кто-то энергически нажал ручку двери, и вошел подполковник. Господин Фридеман встал, и госпожа фон Риннлинген представила мужчин друг другу.

Подполковник в одинаково вежливом поклоне склонился пред гостем и пред женой. Его загорелое лицо блестело от пота.

Стягивая перчатки, он своим зычным рокочущим голосом сказал несколько слов господину Фридеману, который смотрел на него снизу вверх широко открытыми, отсутствующими глазами, не в силах избавиться от ощущения, что сейчас его благосклонно похлопают по плечу. Однако подполковник обратился к жене и, сдвинув каблуки, склонясь в полупоклоне, сказал, заметно приглушив голос:

— Ты уже просила господина Фридемана принять участие в нашем маленьком празднестве, дорогая? Если не возражаешь, я полагал бы устроить его через недельку. Будем надеяться, погода еще продержится, и мы сможем побыть в саду...

— Как тебе угодно, — ответила госпожа фон Риннлинген, не глядя на него.

Через две минуты господин Фридеман поднялся. Дойдя до двери, он еще раз поклонился и встретился с ее глазами. Теперь они не выражали ничего.

Он ушел. Ушел не в город, не домой, а бессознательно свернул на тропинку, ответвлявшуюся от аллеи и сбегавшую вниз к старому крепостному валу над рекой. Здесь под тенистыми деревьями стояли скамьи, пестрели ухоженные куртины. Он шел быстро, бездумно, не поднимая глаз. Ему было нестерпимо жарко, он слышал, как пламенно бушует его кровь, как она приливает к усталой голове и яростно стучит в висках.

Ее взгляд преследовал его. Но не прощальный — пустой и лишенный выражения, а тот, другой — жестокий и хищный, которым она смерила его, едва отзвучали ее странно-тихие слова. Ах, значит, ее забавляет его беспомощность, его растерянность? Значит, она видит его насквозь? Но если и так, разве ей совсем незнакома жалость?

Теперь он шел вдоль реки, окаймленной зеленеющим валом, и опустился на скамью, среди цветущих жасминов. Воздух был напоен сладким, душным благоуханием. Палящее солнце отражалось в подернутой рябью воде. Усталый, затравленный, он все же находился в состоянии мучительного возбуждения. Не лучше ли, на прощание оглянувшись кругом, спуститься вниз в тихую воду и ценою краткого страдания спастись, уйти, обрести покой? Ах, покоя, покоя — вот чего он хотел! Но не пустого и безмолвного небытия, а мирной, кроткой тишины, согретой светлыми, добрыми мыслями. Пронзительная нежность к жизни, томительная тоска о несбывшемся счастии овладела им в это мгновение. Но затем он вгляделся в безмолвный лик извечно равнодушной природы, увидел, как под солнцем течет своим путем река, как стоят цветы, расцветшие затем, чтобы осыпаться, завять, увидел, как все в безгласной покорности склоняется перед законом бытия, — и чувство кровного родства, согласия с неизбежностью внезапно охватило его, чувство, позволяющее человеку возвыситься над всеми судьбами.

Господину Фридеману вспомнился тот день, когда ему исполнилось тридцать лет и он, счастливый обретенным покоем, не зная страха, не зная надежды, пытался предрешить свое будущее. Ни света, ни тени, одно лишь бледное, сумеречное мерцание виделось ему впере-

ди, и только где-то вдали оно едва уловимо сливалось с непроницаемой тьмой. Давно ли это было?

И вот пришла эта женщина, она неминуемо должна была прийти, это была его судьба, она сама была его судьбой, она, она одна!

Она пришла и, как ни пытался он отстоять свой покой, возмутила все его чувства, которые он с юности подавлял в себе, понимая их тщетность, их пагубность. Ужасная, неотвратимая сила влекла его к гибели.

Влекла к гибели, он чувствовал это. Зачем же еще терзать себя, бороться? Пусть все идет своим чередом! Пусть и он дойдет до конца своего пути, зажмурив глаза перед зияющей пропастью, послушный року, послушный грозной силе, сладкой пытке, которой нельзя противостоять.

Сверкала вода, жасмин благоухал остро и душно, птицы чирикали на деревьях, над которыми нависало тяжелое, как бархат, синее небо. Маленький горбатый господин Фридеман долго еще просидел на своей скамейке. Он сидел пригорюнясь, подперев голову обеими руками.

Общее мнение гласило, что вечер у госпожи Риннлинген удался на славу. Человек тридцать гостей разместилось за длинным, изысканно сервированным столом, занимавшим почти всю большую столовую. Лакеи и два нанятых официанта уже торопливо обносили мороженым; звон бокалов, стук ножей и вилок, смешанные запахи кушаний и духов наполняли комнату.

Здесь собрались почтенные, домовитые купцы с супругами и дочерьми, почти все офицеры местного гарнизона, — словом, избранное общество города, включая старого уважаемого врача и нескольких юристов. Был здесь и студент математического факультета, племянник подполковника, проводивший каникулы у своих родных. Он поддерживал весьма глубокомысленную беседу с девицей Хагенштрем, сидевшей напротив господина Фридемана. Господин Фридеман сидел на красивой бархатной подушке, за нижним концом стола, рядом с некрасивой женой директора гимназии, недалеко от госпожи фон Риннлинген, которую вел к столу консул Стефенс. Право, он удивительно изменился за эти дни, маленький господин Фридеман. Может быть, газовый свет, заливавший комнату, отчасти был виной тому, что лицо его казалось таким пугающе-бледным. Но ведь и щеки его ввалились, и обведенные темными кругами глаза смотрели так невыразимо печально, да и вообще он имел такой вид, словно стал еще более горбатым. Он много пил и почти не говорил со своей соседкой.

Госпожа фон Риннлинген еще не обменялась с ним ни словом. Теперь, слегка подавшись вперед, она крикнула ему:

— Напрасно я ждала вас все эти дни, вас и вашу скрипку.

Прежде чем ответить, он поглядел на нее долгим отсутствующим взглядом.

Светлое, легкое платье оставляло открытой белую шею, распустившаяся чайная роза венчала рыжие в золото волосы. Нынче вечером ее щеки слегка порозовели, но в уголках глаз, как всегда, лежали синие тени.

Господин Фридеман опустил глаза и пробормотал в ответ что-то невразумительное, после чего ему пришлось ответить еще и на вопрос супруги директора гимназии — любит ли он Бетховена. Но в то же мгновение подполковник, сидевший во главе стола, бросил взгляд на жену и, постучав по бокалу, сказал:

— Господа, я предлагаю пить кофе в других комнатах, сегодня вечером должно быть недурно и в саду, я с удовольствием присоединяюсь к желающим глотнуть свежего воздуха.

Лейтенант фон Дейдесгейм очень кстати прервал наступившее молчание шуткой, и общество со смехом поднялось из-за стола. Господин Фридеман один из последних покинул столовую, проводил свою даму через комнату, обставленную в старонемецком стиле, где уже расположились покурить несколько мужчин, в полутемную, уютную гостиную и откланялся.

Он был одет щегольски — фрак безупречен, рубашка ослепительно бела, лакированные туфли как влитые сидели на узких изящных ногах. А когда он двигался, было видно, что носки у него красные, шелковые.

Он выглянул в коридор, большинство гостей, группами, уже спускались вниз по лестнице в сад.

Но он со своей сигарой и чашкой кофе уселся у двери в старонемецкий покой и стал смотреть в гостиную.

Справа, ближе к двери, вокруг столика расположилось небольшое общество, средоточием которого являлся студент. Он утверждал, что через одну точку к данной прямой можно провести более чем одну параллельную линию. Супруга присяжного поверенного госпожа Хагенштрем воскликнула: «Быть этого не может!» В ответ на что он доказал это столь безоговорочно, что все были вынуждены глубокомысленно согласиться.

Но в глубине комнаты, на оттоманке, освещенной низкой стоячей лампой под красным абажуром, сидела, беседуя с юной девицей Стефенс, Герда фон Риннлинген. Она сидела, слегка откинувшись на желтую шелковую подушку, закинув ногу на ногу, и не спеша курила сигарету, дым она выпускала через ноздри, нижнюю губку выпятила вперед. Фрейлейн Стефенс сидела перед нею прямая, как палка, и отвечала на все боязливой улыбкой.

Никому не было дела до маленького господина Фридемана, и никто не заметил, что его большие глаза все время прикованы к госпоже фон Риннлинген.

Вид у него был какой-то вялый. Он сидел и смотрел на нее. В этом взгляде не было страсти, едва ли было и страдание, что-то мертвенно-тупое отражалось в нем — какая-то неосознанная, бессильная, безвольная покорность.

Так прошло минут десять. Вдруг госпожа фон Риннлинген поднялась и, даже не глядя на него — можно было подумать, что она все это время украдкой за ним следила, — направилась прямо к господину Фридеману.

— Пойдемте в сад, господин Фридеман?

Он ответил:

— С радостью, сударыня.

— Вы еще не были в нашем саду? — спросила она на лестнице. — Он довольно большой, и надеюсь, там пока не очень людно. Мне хочется капельку передохнуть. За ужином у меня разболелась голова: как видно, красное вино слишком крепко для меня. Вот сюда, в эту дверь...

Через застекленную дверь они вышли на маленькую прохладную площадку, несколько ступенек вело прямо в сад.

Ночь была удивительно теплая, звездная. Благоухание поднималось от земли, со всех клумб. Сад был залит лунным светом. По белеющим гравиевым дорожкам, куря и болтая, прогуливались гости. Часть из них окружила фонтан, где старый, всеми уважаемый доктор под общий хохот пускал бумажные кораблики.

Слегка кивнув головой, госпожа Риннлинген прошла мимо них и показала вдаль, туда, где нарядный душистый цветник сливался с темнеющим парком.

— Мы пойдем вниз по этой аллее, — сказала она.

У входа в парк стояли два невысоких широких обелиска. А там, где кончалась прямая, как стрела, аллея, блестела река, зеленая в лунном сиянии.

Здесь было темно и прохладно. Кое-где от аллеи ответвлялась тропинка и, петляя, тоже сбегала к реке. Долго ничто не нарушало тишины.

Потом она сказала:

— Над самой рекой есть красивое местечко, я часто сижу там. Пойдемте туда, поболтаем... О, взгляните, сквозь листья видны звезды...

Он не отвечал. Он смотрел на блестящую зеленую гладь реки, к которой они приближались.

Отсюда был виден старый крепостной вал, на том берегу. Аллея кончилась, они вышли на заросший травою луг, и госпожа фон Риннлинген сказала:

— Свернем направо, наше местечко там... Вот видите, оно не занято!

Скамья, на которую они опустились, стояла в нескольких шагах от конца аллеи. Здесь было теплее, чем под огромными деревьями. Кузнечики трещали в траве и остролистой осоке над водою. В лунном свете река была совсем светлой.

Некоторое время оба молча смотрели на воду, И вдруг рядом с ним вновь зазвучал голос, который он уже слышал неделю назад, этот тихий, задумчивый и нежный голос, так тронувший его.

— Вы давно страдаете этим недугом, господин Фридеман? — спросила она. — Или это у вас от рождения?

Он проглотил комок, подступивший к горлу. Потом ответил тихо и благонравно:

— Нет, сударыня, я был совсем маленький, меня уронили, и вот я такой...

— А сколько вам лет? — спросила она.

— Тридцать, сударыня.

— Тридцать, — отозвалась она. — И вы не были счастливы эти тридцать лет?

Господин Фридеман покачал головой, губы его дрогнули.

— Нет, — сказал он, — я лгал себе, я был самонадеян.

— Но, значит, вы считали себя счастливым?

— Старался, — сказал он.

И она ответила:

— Вы храбрый человек.

Протекла минута. Только кузнечики трещали в траве, да тихонько шелестели деревья в парке.

— Я тоже не очень-то счастлива, — сказала она, — особенно в такие летние ночи над рекой.

Он не отвечал, только усталым движением показал на тот берег, задумчиво покоившийся в темноте.

— Там я сидел тогда, — сказал он.

— Когда ушли от меня?

Он ограничился кивком.

И вдруг, весь трепеща, он порывисто сорвался с места, всхлипнул, издал горлом странный, страдальческий звук, вместе с тем говоривший об избавлении, и, весь сникнув, тихо опустился на землю к ее ногам.

Он взял ее руку, лежавшую на скамье, не выпуская ее, схватил вторую; этот маленький горбатый человек, содрогаясь и всхлипывая, ползал перед ней на коленях, пряча лицо в ее юбках, и, задыхаясь, прерывисто шептал голосом, потерявшим все человеческое:

— Вы же знаете... Позволь мне... Боже мой, боже... Я больше не могу!

Она не отстранила его и не наклонилась к нему. Она сидела стройная и прямая, слегка откинувшись назад, а ее узкие, близко посаженные глаза, в которых отражалось влажное мерцание воды, напряженно смотрели вдаль, поверх его головы.

Потом внезапно, одним рывком, она освободила из его горячих рук свои пальцы и с коротким, гордым, пренебрежительным смешком схватила его за плечи, швырнула на землю, вскочила и исчезла в аллее.

Он остался лежать оглушенный, одурманенный, зарывшись лицом в траву.

Короткая судорога ежеминутно пробегала по его телу. Он заставил себя подняться, сделал два шага и снова рухнул наземь. Он лежал у воды.

Что же, собственно, ощущал он теперь, после всего, что случилось? Может быть, то самое чувственное упоение ненавистью, какое он испытывал, когда она надругалась над ним взглядом, ненавистью, которая теперь, когда он, отброшенный, как пес, валялся на земле,

переросла в столь сумасшедшую ярость, что он должен был дать ей выход, пусть даже обратив ее на самого себя. А может быть, брезгливое чувство к себе вызывало эту жажду уничтожить, растерзать себя, покончить с собою.

Он еще немного прополз вперед на животе, потом приподнялся на локтях и ничком упал в воду.

Больше он не поднял головы, даже не шевельнул ногами, лежавшими на берегу.

Когда раздался всплеск воды, кузнечики было умолкли. Потом затрещали с новой силой. Шелестел парк, где-то в аллее слышался негромкий смех.

1897